ISSN 0012-6756



Дружба народов

5/2018

Сергей Панарин

Миграции на шкале истории

Не остается ничто незыблемым: всё преходяще[1].

Лукреций «О природе вещей»

Двадцать пять лет назад в ответ на вопрос профессора истории из Гарвардского университета Эммы Ротшильд, чем бы я хотел заниматься в рамках международного проекта по продвижению и дальнейшей разработке новой концепции безопасности, я предположил, что это могла бы быть тема «Миграция и безопасность».

С тех пор, куда бы меня ни уводил исследовательский интерес, прихотливым сменам которого я всегда, не особо сопротивляясь, следовал, миграционные сюжеты никогда не выпадали полностью из моего поля зрения. Я возвращался к ним даже после длительного, в несколько лет, перерыва — с опасением, конечно, что безнадежно отстал за пропущенное время и не смогу найти общего языка с небольшой, но очень активной, постоянно общающейся и, увы, не слишком интенсивно обновляющейся когортой «миграционистов».

Однако эти страхи оказывались преувеличенными. Я действительно отставал в знании новых фактов и теоретических наработок, но не в понимании проблематики. Что не было, однако, моей заслугой. Ибо хотя менялись ее акценты, одни аспекты выходили на передний план, другие на время отступали в тень, в целом круг вопросов, требовавших ответов, почти не менялся, и в почти неизменном виде повторялись варианты этих ответов. В то же время, как раз благодаря перерывам, все более отчетливо виделась способность миграции и мигрантов противостоять, при попытках перевести их в разряд «предметов и объектов исследования», отчуждению в форме объективации и концептуализации, способность вторгаться в исследование всей полнотой жизненного восприятия «их» «нами». И тем самым нарушать столь необходимую для исследователя дистанцию.

Но разве могло быть иначе? Ведь мигранты вошли в нашу жизнь. Из своего окна, выходящего во двор старого сталинского дома, я в течение уже лет десяти невольно наблюдаю за работами и заботами сменяющихся дворников — мигрантов из Средней Азии. Какие среди них попадались неутомимые, добросовестные труженики — как, впрочем, и мастера имитировать трудовую деятельность!

Панарин Сергей Алексеевич — востоковед, заведующий Центром исследования общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН. В «ДН» публикуется впервые.

[1] Перевод Ф.Петровского.

Одна из квартир в моем подъезде давно сдается интеллигентным девушкам-киргизкам, тоже периодически сменяющимся. Как-то в ней даже была сыграна пышная свадьба. А однажды я был вынужден вмешаться, когда разозленный киргизский кавалер свою хрупкую киргизскую подружку, с виду вполне современную девушку, стал вполне «по традиционному» бить ногой по самым чувствительным местам... Да что перечислять эпизод за эпизодом! Уверен, что из личных воспоминаний о встречах с мигрантами тех немногих, кто исследует миграцию, и тех многих, кто ею профессионально не занимается, можно составить толстенный том, а то и два, под условным названием «Какими мы видим их». И том этот был бы в первую очередь не о мигрантах, а о нас.

Что приходит из жизни и задевает лично, заставляя забыть, иногда надолго, об успокаивающем лекарстве рефлексии, то не так-то легко отстранить и анализировать. Так и с миграцией. Намного сильнее, чем традиционные исторические сюжеты, проблемы Южно-китайского моря или очередная встреча в рамках ШОС, апеллирует она напрямую, поверх ограды затверженных научных интерпретаций, к тому, как ее исследователь видит мир и себя в нем, какие ценности разделяет и отвергает. Злободневная по определению, успешно взывающая подчас даже к индивидуальному темпераменту, она оказывает на любого субъекта ее восприятия — будь тот ученым, политиком, социальным работником или полицейским — такое давление, что парадоксальным образом объективирует уже самого этого субъекта. Объективирует в том смысле, что, провоцируя запуск в сознании процессов категоризации[1], хотя бы отчасти подменяет индивидуальное восприятие стереотипным. И это давление мешает выстроить непротиворечивое объяснение феномена миграции.

Есть и другая почти непреодолимая трудность — соединение извечного течения миграций с их текучей изменчивостью. Миграции длятся и длятся: от огромной по длительности эпохи антропогенеза до ничтожного кусочка времени, гордо объявленного эпохой постмодерна; от господства каменной индустрии до наводнения информационных потоков и обслуживающих их технологий; от Саргона Великого и фараона Джосера до Путина и Трампа. При этом в каждый данный, относительно протяженный, отрезок исторического времени в большей или меньшей степени обновляется социальный состав миграций, происходят изменения в композициях и балансах вызывающей их совокупности причин и миграционных следствий, как ожидаемых, так и непредвиденных. Эта вечность миграций, их непрерывное — то более выраженное, то менее, но неизбывное — присутствие в истории человечества и вечная изменчивость, обостренная реагентность на смену обстоятельств оборачиваются настоящими преградами для тех, кто жаждет их «разъять алгеброй» анализа, подчинить законам. Ученые подступают к миграциям как к объекту исследования, властители — как к объекту управления; но и те и другие равно уподобляются борцам с мифическим Протеем, вечно меняющим облик и потому ускользающим от понимания первых и не поддающимся контролю вторых.

Поэтому я скептически отношусь к концепциям миграции и сосредоточусь на методе исследования, способном, как представляется, обеспечить необходимое отстранение от дышащего в затылок «предмета», различить под маской частых и частных изменений его едва ли не вечные в их устойчивости, «гранитные» черты.

---

[1] Понятием «категоризация» в социальной психологии определяется непроизвольный процесс деления людей на группы в ситуации, когда эти группы взаимодействуют лишь случайно и поверхностно и когда их не сближает сходство в мировидении. Категоризация может вести — и нередко приводит — к предвзятому отношению и дискриминации.

I

> Одно тысячелетие за другим землю населяют одни мигранты, и завтра мы будем мигрировать еще больше. Будут мигранты политические, мигранты экономические, мигранты климатические. Но люди — это бабочки, возомнившие себя цветами: как только они где-нибудь обосновываются, они забывают, что у них нет корней, они принимают собственные крылья за лепестки, придумывают себе иную генеалогию, отличную от блуждающей гусеницы и летающего зверя.
>
> *Эрик-Эмманюэль Шмитт. Улисс из Багдада.*

Начну со слова. Уже в своем римском «далеке» латинский глагол *migrare* и существительное женского рода *migratio* обладали многими значениями. Чаще всего их употребляли, когда надо было сказать о переселении, переезде кого-либо или перемещении чего-либо; об уклонении от чего-либо, оставлении чего-либо (например, своего поста); об отступлении от закона, его нарушении; о вступлении в новый брак; о смерти как переходе, расставании с жизнью; в целом — об изменении и всеобщей изменчивости. В дальнейшем, в течение столетий бытования латыни в качестве международного языка высокой культуры значения слова «миграция» продолжали множиться — как и после вхождения этого слова в национальные языки. В итоге за время длительного пребывания и в повседневном языке, и в языках политики, журналистики и науки понятие обросло множеством смыслов и коннотаций, а заодно и эмоциональных мировоззренческих и идеологических реакций на него.

В зависимости от контекста использования понятия на первый план выходят лишь некоторые его значения или вовсе единственное. Понятие «миграция» — не исключение. С уверенностью можно предположить, что для энтомологов, изучающих вид *Coccinellidae*, оно в первую очередь ассоциируется с перелетами целой популяции божьих коровок. Но и при переходе от языка узких специалистов к языку общенаучному и литературному опережающее всплывание какого-то смысла тоже определяется контекстом, только теперь контекстом, создаваемым не столько профессиональными занятиями, сколько обстоятельствами места и времени.

В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона вместо статьи о миграции дается отсылка к статье «Переселение», а в той речь идет исключительно о миграциях в животном мире. И хотя затем следует большая статья «Переселения» — о переселениях русских крестьян на окраины империи, и есть в «Словаре» статьи «Иммиграция» и «Эмиграция», как *родовое понятие* миграция все-таки не отождествляется в нем напрямую с перемещениями людей. Спустя столетие, в академическом словаре, оставив эпитет “академический”, предназначенном для фиксации изменений в русском языке к концу XX века, миграция толкуется исключительно как движение людей. Причем и в его толковании, и в иллюстрациях медийного употребления это слово прочно привязывается к движениям населения в пространстве бывшего СССР после его распада.

Другой пример контекстуальной аранжировки смыслов. В онлайновых словарях итальянского языка, при сугубо политкорректном толковании самого термина, в поясняющих примерах прорывается его эмоциональное восприятие, обусловленное европейским миграционным кризисом. Например, в авторитетном словаре итальянского языка «Вокабулере Треккани» вслед за нейтральным объяснением значения слова «мигрировать» приводится фраза из текста Карло Сгорлона[1], отражающая отношение

[1] Карло Сгорлон (1930—2009), итальянский писатель родом из области Фриуле. Обладатель множества престижных литературных премий. Автор трех десятков романов, сборников рассказов и пьес. В том числе — автор романа о мигрантах из Фриуле, участвовавших в строительстве Транссиба.

к миграции как к бедствию: «Орды варваров прихлынули к пределам Римской империи — и ее жители были вынуждены бежать, бросая свои земли, становиться людьми, рассеянными по свету, лишенными будущего». В другом словаре сначала объясняется, что мигрировать = поселиться не в том месте, откуда ты родом — разумеется, без указания этого самого места. Но в иллюстрирующем предложении оно обозначено четко и — весьма симптоматично: «популяции мигрировали с *Востока*» (выделено мною. — *С.П.*).

Как хорошо видно из этих примеров, понятие «миграция» откликается на перемены в его восприятии, а те обусловлены не только исторической динамикой контекста социальной среды, в которой разворачивается миграционный процесс, но и его собственной динамикой. Благо богатый смысловой арсенал понятия это позволяет. Вместе с тем, не стоит забывать, что все смыслы слова «миграция» крепятся, подобно роскошной кипени цветов, вдруг облепивших невзрачную ветку, к элементарному представлению о движении в пространстве. Миграция немыслима без движения, без этой природной способности человека как живого существа, которой он, уже как существо социальное, придал созидательную историческую функцию окультуривания, очеловечивания природного пространства, его колонизации. А ключевой характеристикой колонизации, включая самую древнюю, начальную — ту, что совпала по времени с началом человеческой истории, — была, по определению историка А.Головнёва, «стратегия движения (власть над пространством) с многообразием миграций и взаимодействий».

Можно, наверное, сказать, что миграция сама — исконная человеческая способность. Пусть у многих людей, глубоко погруженных в жизнь — да простится мне неологизм! — домоседную, эта способность до поры остается свернутой, она так же имманентна любому человеку, как его способность дышать или спать. Даже парализованный человек свободно перемещается в *воображаемом* пространстве. Он может развить в себе способность к *творческой* миграции. К той, например, которой буквально живет герой детективов Джеффри Дивера Линкольн Райм, которому почти полная неподвижность не мешает мысленно двигаться за логикой замыслов и пространственными перемещениями преступника .

Вернемся, однако, к мигрантам реальным, способным к физическим перемещениям. Как бы ни варьировались их цели, все они для достижения своих целей прибегают к помощи одного средства — движения в пространстве. Именно такое движение — обязательное условие и универсальное средство решения самых разных проблем, возникающих на личностно-групповом уровне и на уровне этнической общности. Более того, миграции были необходимой составляющей самого становления человека как *вида*, процессы антропогенеза и миграции — куда большие «близнецы-братья», чем партия и Ленин в поэме Маяковского. Поэтому история миграций — в отличие, скажем, от истории революций, государств, международных отношений и т.д. — соизмерима с историей человечества во всей ее протяженности. Что позволяет при поиске первичной, базовой характеристики совокупного мигранта использовать парафраз из Шефтсбери: мигрант — это человек, *каков он сам по себе*, то есть человек еще не исторический, человек естественный в руссоистском понимании термина. И вместе с тем именно посредством миграционного движения «естественный» человек расстается со своей изначальной включенностью в мир природы, начинает долгий путь к антропоцену. Это путь от свободных просторов — к пространствам, человеком-мигрантом одновременно расширяемым, разграничиваемым и изменяемым. От родовой территории он ведет к национальному государству и глобальному миру, от стоянки в сотню квадратных метров — к мегаполису, от устного известия в узком кругу — к всемирной информационной паутине и т.д. и т.д. и т.д.

Всё преходяще.

II

...Прошлое и настоящее взаимно освещают друг друга.
Фернан Бродель. История и общественные науки: историческая длительность

Итак, способность к миграции была присуща человеку еще тогда, когда человеком он только становился. Миграции, в ходе которых люди расселились от Бретани до Чукотки и от Гренландии до Огненной земли, охватили *всю* Землю, прослеживаются на протяжении *всей* истории человечества. Такая соположенность миграций «времени мира»[1] и такая их соразмерность земному пространству требуют использования, наряду с широко распространенными исследованиями, сфокусированными на происходящем сейчас, исследований, обращенных в прошлое.

Мне тут же скажут — и вполне обоснованно, — что с пафосом ставить такую задачу все равно что ломиться в открытую дверь. Исторические миграции давно стали предметом внимания и рефлексии. Что такое вторая и четвертая книги Моисеевы («Исход» и «Числа»), как не описание исторической миграции евреев из Египта в страну Ханаан? И не просто описание, а еще и задним числом легитимирующее объяснение причин и целей этой миграции. И дано оно было задолго до первых претендовавших на научность интерпретаций непосредственно наблюдаемых миграций, сводивших миграционные перемещения к разновидности броуновского движения.

В настоящее время нет недостатка внимания к историческим миграциям со стороны ученых — историков, этнологов, археологов. В Институте археологии РАН даже существует специальное подразделение по изучению миграций прошлого — Отдел археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья. Однако само по себе наличие «древников», занимающихся миграциями далекого прошлого, ровно ничего не значит для «современщиков», и наоборот. Ибо располагаются они на разных концах временного континуума, в своем поиске друг с другом не взаимодействуют и, похоже, совсем не тяготятся взаимной изоляцией.

Между тем, по моему глубокому убеждению, для того чтобы миграционные исследования обрели новые объяснительные возможности, необходимо устранить этот разрыв, поместив их на единую временну́ю шкалу — шкалу *longue durée*, то есть на шкалу исторической длительности.

Оборот *longue durée,* имеющий во французском языке значение «длительный срок», «продолжительный период времени» и т.п., стал с легкой руки Фернана Броделя термином и служит сейчас для каждого, кто употребляет фразеологизм в этом качестве, таким же бесспорным свидетельством его пребывания на теоретическом Олимпе и историографическом Парнасе, как и почтительные упоминания ризомы Делёза или инвективы в духе Эдварда Саида в адрес пресловутого ориентализма. Однако частое использование понятий столь же часто не идет им на пользу. Они стираются, превращаются в функцию, в статусные символы и ненаучные интерпелляции, чей исходный смысл оттесняется так далеко на периферию сознания, что он, а вслед за ним и само слово словно бы умирают. А мертвые слова, как выразился в стихотворении «Слово» Николай Гумилев, «дурно пахнут». Поэтому, несмотря на видимую всеобщую осведомленность в вопросе, что это за конструкт такой *longue durée*, я уделю ему далее целый раздел. Благо сам творец и пропагандист конструкта разбросал в своих текстах немало кратких пояснений на его счет. Есть у него и специальная статья, в которой он раскрывает содержание своей излюбленной метафоры

[1] Метафора заимствована из названия третьего тома главного труда Фернана Броделя. См.: (*Бродель Ф.* Материальная цивилизация, т. 3, 1992).

и — что еще более важно с точки зрения замысла книги, предваряемой этим предисловием, — доказывает методологическую *необходимость* использования *longue durée.*

Еще в 1948 году Бродель представил историю Средиземноморья в виде здания из трех этажей. Первый этаж — это почти неподвижная история взаимоотношений человека с окружающей средой; второй — история медленных ритмов = социальных групп, третий — «быстрая» «индивидуальная» история, под которой он понимал как бы размеченную деяниями исторических фигур и потому преимущественно политическую историю. Или, по определению Франсуа Симиана, историю событийную. И поскольку эти три истории различались для Броделя не только силами и акторами, но и скоростью протекания, он и время истории разделил соответственно ее этажам на время географическое, социальное и индивидуальное.

В дальнейшем Бродель фактически отождествил событийную историю с историей времени как мгновения и противопоставил ее истории процессуальной, время которой — *longue durée* — продолжительное, длящееся. Однако его противопоставление нельзя назвать жестким: он уточняет, что какие-то события, короткие в пределах их самостоятельного существования, могут, условно говоря, растягиваться во времени, поскольку оказываются важными или даже ключевыми звеньями в цепи причин и следствий. Поэтому «лучше говорить не о событиях, а о коротких промежутках времени, соразмерных отдельной личности, повседневной жизни, нашим заблуждениям и скоропалительным умозаключениям, — прежде всего, о времени хроники, времени журналистском». В этом времени царит событийная усредненность, к тому же «из всех возможных промежутков времени самый короткий — и самый капризный и обманчивый».

Этажи истории различаются и по их структуре. Структуру Бродель определял как «связный, хорошо фиксируемый ряд отношений между действительностью и социальными массами». «Одни структуры, вследствие их долгого существования, становятся прочными элементами жизни бесчисленных поколений: встают на пути истории, препятствуют ее течению и тем самым формируют ее. Другие изнашиваются быстрее. Но все они служат и опорой, и помехой. В качестве помех они образуют границы, за которые человек и человеческий опыт не могут ступить. Только представьте себе, как трудно вырваться из рамок, устанавливаемых географией и биологией, преодолеть пределы производительности, даже какие-то специфические духовные ограничители — ведь ментальные рамки тоже могут быть темницей longue durée»[1].

Совокупность ограничивающих структур Бродель называл структурами повседневности. Чтобы прояснить содержание этого понятия — и, заодно, доставить читателю удовольствие от высокой исторической прозы, — позволю себе еще одну пространную цитату.

«Я начинаю с инерции — с истории того, довольно-таки неопределенного на первый взгляд, сорта, что выходит за пределы ясного осознания. Эта история — как игра, в которой человек не столько играет сам, сколько она играет им. <...> Начинаю с повседневной жизни, с тех ее сторон, что контролируют нас, а мы этого даже не замечаем: с привычек, или, лучше сказать, с рутины — с того множества актов, процветающих и вызревающих независимо от чьего-либо решения, которое мы себе и не представляем. <...> Бесчисленные унаследованные нами акты, накопленные вперемешку и до сих пор периодически нами повторяемые, и помогают нам жить, и лишают нас свободы, принимая за нас решения на протяжении всей жизни». Что это за акты? «Это побуждения, влечения, образцы и способы действия и реагирования, которые — куда чаще, чем мы в состоянии подозревать — восходят к началам человеческой истории. Древнее, но всё еще живое, это многовековое прошлое втекает в настоящее подобно Амазонке, изливающей в Атлантический океан половодье своего мутного потока».

[1] Указ. соч. С. 31.

III

> ...Сегодня в Европе мы имеем дело не с иммиграцией. Мы наблюдаем феномен *миграции*. Разумеется, она лишена стремительности и жестокости вторжения германских племен в Италию, Францию и Испанию, ярости арабской экспансии после Хиджры и неторопливости неисчислимых людских потоков, которые перенесли загадочные народы из Азии в Океанию и, возможно, в обе Америки через исчезнувшие ныне сухопутные перешейки. Но это другая глава истории планеты, которая видела цивилизации, образовавшиеся и исчезнувшие на гребнях великих миграционных волн. Сначала — с Запада на Восток (но мы об этой волне очень мало знаем), потом с Востока на Запад, начиная тысячелетнее движение от истоков Инда к Геркулесовым столбам и потом, через четыре столетия, — от Геркулесовых столбов в Калифорнию и к Огненной Земле.
>
> *Умберто Эко. Картонки Минервы*

Мы не сможем глубоко проникнуть в современность, если, обязательно помня о вопросах, которые она задает нам, не обратимся к поиску ответов также и в прошлом. В нашем случае — к поиску ответов на вопросы о миграции. В методологическом отношении такое обращение — при условии, что это будет не точечный укол, не выхватывание подходящей по видимости аналогии, а именно погружение в Амазонку *longue durée*, — откроет некоторые потенциально эвристические возможности.

Обогащение представления о структуре миграционных процессов. Как это может получиться при сопоставлении сущностей, разделенных временем, Бродель показал с помощью простого сравнения сущностей, разделенных пространством. «Прожив в Лондоне год, вы не так уж и много узнаете об Англии. Зато по контрасту, на фоне того, что вас там удивило, вы внезапно придете к пониманию глубоко запрятанных характерных особенностей Франции — вещей, которые вы не знали раньше потому, что знали их слишком хорошо. Так и с современностью: прошлое — способ от нее дистанцироваться». То есть речь не идет о том, что, проследив, предположим, движение гуннов на запад в V веке или переселение горстки зулусов под началом Мзиликази на север в первой четверти XIX века, мы непременно обнаружим нечто такое, что хорошо выражено и в современных миграциях. Куда более вероятно другое: на «экзотическом» фоне исторических миграций мы сможем разглядеть в миграциях наших дней то, чего раньше в них не замечали, на что не обращали внимания.

Аналогичный результат представляется возможным и в том случае, когда фоном, способным проявить нечто, скрытое в привычном облике прошлого, может, наоборот, послужить картина современных миграций. Но этим не исчерпывается ожидаемый эффект от сравнения миграций, разделенных столетиями. В узких хронологических рамках, будь то рамки текущих событий или короткого периода прошлого, нередко видится только то, что само бросается в глаза, тогда как все остальное, быть может, более важное, ускользает от взгляда исследователя. Когда же прошлое и настоящее соположены и, благодаря этому, корректно сопоставлены, определение исследовательских приоритетов, главного и второстепенного в предмете исследования может оказаться значительно более точным, чем при рассмотрении разновременных миграций изолированно друг от друга. И открываются альтернативы привычному видению современной миграции: *историзируя* ее, мы приобщаемся к той способности истории, о которой прекрасно сказал Юваль Харари: «В отличие от физики и экономики, история не берется давать точные предсказания. Мы изучаем ее не затем, чтобы выяснить будущее, но чтобы расширить наши представления, понять, что

нынешняя ситуация не так уж естественна и неизбежна. А значит, и сейчас перед нами множество дорог, гораздо больше, чем мы полагали».

Поверка исследовательского инструментария. Современными миграциями занимаются разные науки, более всех — социология, особенно качественная, и антропология, особенно культурная. Для изучения миграций они сделали больше, чем другие дисциплины. Однако и сегодня актуальны слова Броделя, некогда адресованные им социологам: вы склонны игнорировать исторические объяснения под тем предлогом, что каждое такое объяснение зиждется на небесспорной реконструкции.

С точки зрения социолога или антрополога их методы позволяют сделать точный срез действительности, ее, образно говоря, фотоснимок. И сколько бы его авторы ни демонстрировали на публику скептицизм в отношении получаемых ими результатов, в глубине души большинство из них верит, что на снимке — всё как есть на самом деле (или как было, когда «птичка вылетела»). С точки зрения историка — всё ровно наоборот: «исследователь, занимающийся современностью, сможет очертить... контур искомой структуры лишь в том случае, если сам займется реконструкцией, если на первое место поставит теории и толкования, не будет затянут в плен непосредственно явленной реальности...»[1]

Совместное пребывание в школе *longue durée* специалистов по современности и по древности и в этом отношении будет взаимовыгодным. Это не означает, конечно, что стороны будут с легкостью обмениваться методами. Скорее, следует рассчитывать на перспективу *тестировать* «замеры» происходящего здесь и сейчас историческими реконструкциями произошедшего там и тогда. Ибо при всей уязвимости реконструкции любой исторической миграции, ее хода, составляющих, связей с другими процессами, итог ее именно как процесса нам *явлен*. Снимки же, делаемые социальными науками, при всей их впечатляющей детальности, суть не более чем фиксации промежуточных, исторически минутных, сменяющихся состояний. Несомненно, и они могут сказать, и немало, о процессе, но лишь после того, как мы его *мысленно сконструируем*, выработаем методику «улова» гипотетического процессуального и с ее помощью разрозненные фотографии времени как момента соединим в единый свиток времени как протяженности. Что касается «навара» для историков, то тут дело обстоит более сложным образом, поскольку сам принцип снимка им недоступен. Невозможно включенное наблюдение крестовых походов или восстания сипаев. Стоит рассчитывать на то, что не сам по себе методологический багаж «современщиков», а их, если можно так выразиться, методическая изобретательность будет усвоена «древниками» и принесет им несомненную пользу.

Углубленное понимание следствий миграций. Когда в исследовательском поле прочерчивается только верхняя хронологическая грань — текущее десятилетие XXI века, нижняя же теряется в глубине тысячелетий, открывается возможность увидеть действительно долговременные эффекты исторических миграций — долговременные и как *долго проявляющиеся*, и как *долго длящиеся*. Конечно, на протяженной временной шкале происходило много такого, что существенным образом могло повлиять и влияло на последствия миграций; это «много чего» могло вообще кардинально изменить непосредственные эффекты миграций, элиминировать их кумулятивный эффект. Сами эффекты заявляли о себе в разных областях жизни, на разных этажах истории. Однако, если попытаться обобщить это множество в наиболее значимое следствие, то можно, как мне представляется, утверждать: и массовые миграции по типу переселения целого народа, и тихие, скромные по масштабам, но надолго растянувшиеся во времени миграции-инфильтрации чреваты *сменой одного субъекта истории другим*.

---

[1] Указ. соч. С.36.

Когда смена действительно случалась, происходила она по-разному. Самый радикальный способ — завоевание, в ходе которого аборигенное население уничтожалось полностью или в огромных масштабах и заменялось населением пришлым. Но более распространенными были либо синтез новой субъектности на основе социокультурных характеристик пришлого и коренного населения, либо полная утрата автохтонами своей идентичности, принятие ими идентичности мигрантов. Ближайший пример синтеза — результаты завоевания варварами Западно-Римской империи. Здесь мы видим и сложение нового общественно-исторического строя, и замену одного государства многими, и формирование, на основе слияния германо-язычных варваров с романизированными автохтонами, сначала народностей, потом современных наций. И конечно же, мощное влияние культурного наследия античности на становление Запада как сообщества nation-states, как особой цивилизации, как «родины» науки и капитализма.

За примерами поглощения аборигенного населения населением пришлым и вовсе не надо далеко ходить: вспомним о полностью растворившихся в славянском половодье балтских и финно-угорских народностях — голяди, веси, мери, мурome.

Не меньшими по значимости оказались периодические перемещения в пространстве сравнительно немногочисленных групп людей, для которых эти перемещения были, по сути, смыслом жизни, — торговых мигрантов, паломников, странствующих проповедников, ученых, артистов, поэтов. Следствием в данном случае стала всепроникающая кросс-культурная миграция вещей, идей, понятий, образов, целых текстов, отдельных слов и алфавитов и других артефактов культуры. Эти миграции в большинстве случаев не были катастрофическими. И даже там и тогда, где и когда они были частично травматическими, такими они становились лишь постольку, поскольку вызывали в личностном и групповом сознании болезненную эрозию привычной картины мира и/или провоцировали репрессивные меры со стороны ее властных охранителей. Зато, пусть с перерывами и попятными движениями, они работали на трансформацию той или иной культуры и на сплавление культур[1]. Они же рыхлили почву для культурных гибридов, проверяли практики неконфликтных гетерогенных взаимодействий, открывали новые возможности — короче, создавали исторические предпосылки глобализации и « сетизации» мира на всех их будущих направлениях.

Этими следствиями то, что было завещано нам историческими миграциями, конечно же, не исчерпывается. Приведены они здесь лишь для того, чтобы показать, к каким масштабным, многосторонним, то противоречивым, то комплементарным результатам — нередко не ожидавшимся, не предполагавшимся и даже во время их течения не подвергавшимся сколько-нибудь углубленной рефлексии, — могут приводить миграции. Но также для того, чтобы показать: и то, что миграции могут выступать демиургами исторического процесса, и то, какова сила их воздействия на него, и то, что эта сила способна сделать, — все это в короткой перспективе современности капитально помогает увидеть опыт прошлого.

---

[1] Не случайно исторические миграции с самого попадания их в поле научного анализа рассматривались в качестве инварианта объяснения всего хода истории (см.: *Амальрик А.С., Монгайт А.Л.* В поисках исчезнувших цивилизаций. М.: Наука, 1966. С. 262—272).

О цели и направлении

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей! Вот вам картинки с выставки.

С выставки хорошего сибирского художника Ивана Кулакова.

Прошла она в июле 2017 года в Доме ученых Сибирского отделения РАН.

Почему я поставил в заголовке этого материала слово *цель*? Да потому, наверное, что она, эта странная цель, присутствует в каждом нашем действии. Как и *направление*, с которым, правда, все вроде яснее. Идут ведь всегда к чему-то: к далекой горе, к морю, к саду, к супермаркету, да мало ли. Никто не говорит: иду на север, на юг и т.д. Даже капитан Гаттерас в известном романе Жюля Верна стремился не просто в полярные края, нет, он страстно и неуклонно стремится — к полюсу.То есть к определенной точке. Так что направления почти всегда — к *чему-то.* Альпинисты всходят на высочайшие пики, видят внизу долины, ущелья, извивающиеся реки. Огюст Пикар опускается в Марианскую впадину, видит в темной вечной мгле рыбу, похожую на камбалу. Ален Бомбар в одиночестве пересекает Атлантику, и волны, только волны вокруг, исследует все более глубокие пещеры, писатель пишет книгу, строитель возводит величественные дворцы, прокладывает дороги.

У всех есть некая цель.

И есть направление — путь к цели.

Вавилонскую башню строили потомки Ноя в долине Сеннаарской.

Вавилонская башня должна была стать центром притяжения для многочисленных местных племен. Наследники Хама (одного из сыновей Ноя) стягивались в долину, камня не хватало — обжигали глину, получали кирпич. Господь, как правило, не настаивает на полном Ему подчинении, что ни говори, свобода выбора все-таки существует, но в случае с Вавилонской башней Он возмутился. Как это, башня до небес? Почему до самых небес? Конечно, самоуправство. Только по доброте своей Он не стал проливать кровь. Просто смешал языки.

Не случится ли такого с построением Евросоюза?

Вопрос возник по ассоциации. Но он не так прост, как кажется.

Загадочная Вавилонская башня во все времена привлекала внимание художников, ведь она одновременно — и направление, и цель. Куда потомкам Хама двигаться?

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

Публикации в соавторстве в «Дружбе народов»: эссе «О красоте» (2016, № 1); эссе «О молчании» (2016, № 6); «О понимании» (2017, № 4); «О пошлости» (2017, № 7); «О правде и о вечных вопросах» (2017, № 12).

В Сеннаарскую долину. Что им там делать? Строить башню до неба. Потомки Хама, ведомые Нимродом, не хотели больше оставаться рабами потомков Иафета и Сима. Куда им уходить от агрессивных соседей? Нимрод, наверное, не один год обдумывал это. В конце концов, почему бы не потягаться с самим Господом? Всего-то делов — построить башню. Главное — начать. Как через много веков говорил один маршал: главное — ввязаться в драку.

Так цель и направление сливаются воедино.

Свою «Вавилонскую башню» русская художница Наталья Толпекина (сейчас живет в Англии) написала грубой, громоздкой, архаичной. Ее холст — это отзвук прошлого, сам воздух напитан дряхлеющим временем. Башня, написанная Толпекиной, она — от Лукаса ван Фалькенборха; от Хендрика ван Клеве; от Момпера и Франса Франкена-младшего; она, конечно, от Питера Брейгеля.

Наталья Толпекина остро чувствует прошлое.

А вот башня, написанная сибирским художником Иваном Кулаковым, насыщена исключительно современными реалиями. Строители Кулакова — это мы с вами. Мы видим на холсте тесно сгрудившиеся небоскребы, над ними — в металле и стекле — главный. Все вместе эти небоскребы и есть Вавилонская башня, тут не о чем спрашивать, тут все ясно с первого взгляда. Мы строим свою башню упорно, мы начали строительство еще в каменном веке. Переходя от бронзы к железу, от железа к стали, от стали к титановым сплавам и т.д., и т.п., мы строим все круче, все выше, все мощнее. Наша Вавилонская башня (одновременно) — это и дарвинизм, и водородная бомба, и полет на Луну, и открытое общество. Мы хотим стереть все границы. Долой полосатые столбы, распаханные полосы, мы вот-вот достанем до неба! Вон как бодро мы (строители) рассыпались по смотровым площадкам, каждый — на своем небоскребе. Нам не до личных встреч (есть интернет, в конце концов), нам не хватает времени для прямого общения (зато у нас есть мобильная связь).

Мы поднимаемся выше и выше.

Мы поднимаемся к небу.

Ну, хорошо, пусть так.

А потом? А потом что?

Подергать за бороду Большого Старика?

Увидеть все тот же мир, только с несколько иного уровня?

«И увидел я новое Небо и новую Землю; ибо прежнее Небо и прежняя Земля миновали, и Моря уже нет». (*Апок. 21, 1*).

Но ведь мы видели это уже не раз. Видели с орбиты МКС. Видели с покоренной Джомолунгмы. Что нового можно увидеть с Вавилонской башни? Как-то не верится, что, начиная такое необычное дело, никто всерьез не задумался о реальном будущем. Как так? Мы же знаем: уничтожая пространственные границы, мы одновременно создаем новые — невидимые, но все более мощные. Поднимаясь к небесам этаж за этажом, мы видим все тот же окружающий мир...

И дело не просто в эстетической составляющей.

Вот мы еще не достроили башню, а уже знаем, что увидим с нее.

Художник Иван Кулаков — геофизик по специальности. Он не раз мысленно (и с помощью приборов) заглядывал в темные глубины Земли (это его профессия), думаю, он не раз строил (и продолжает строить) модели земных пластов — таких всегда живых и подвижных. Наука — занятие счастливое. Но когда Кулаков (уже как художник) писал Вавилонскую башню, он явно тревожился. Не случайно его строители (мы) выглядят такими неуверенными. Они толпятся на смотровых площадках, они, возможно, предчувствуют, что никаких ресурсов не хватит, возможно, они боятся того, что Большой Старик опять не потерпит их стремления к собственному выбору...

Однажды в Куала-Лумпуре (Малайзия) я смотрел на лежащий внизу огромный город с его самой высокой башни (внизу, кстати, среди прочих достопримечательностей четко выделялась белая аккуратная тюрьма для китайских террористов), в другой раз — на Гудзон и кварталы Нью-Йорка с одного из Близнецов (Южного). Мир и там,

и там казался невероятно обширным, и все же это был все тот же, хорошо знакомый мне мир.

Наверное, и с вершины древней (овеянной допотопными ветрами) Вавилонской башни (если бы ее все-таки достроили) мир увиделся бы столь же широко; и все равно — он уже знаком нам...

А вот другой холст Ивана Кулакова.

На этом холсте изображен Ной — крошечный старичок, поднявшийся на самую верхнюю палубу (палуб у нового ковчега не менее семи). Он нетороплив. На момент постройки Ною исполнилось примерно пятьсот лет, а после чудесного прибытия ковчега к горе Арарат он, сын Ламеха, внук Мафусаила, прямой отпрыск Адама, жил еще триста пятьдесят лет. Куда спешить в таком возрасте? Вот он и возделывал землю — неспешно, долгими веками, высаживал виноград, ухаживал за лозой. С ним на ковчеге спаслись сыновья: Иафет, родоначальник европейцев, Сим, давший начало семитским народам, Хам, породивший африканские племена...

Но Иван Кулаков — о другом.

Ковчег, написанный им, огромен.

Ковчег просторен. Ведь на нем должны спастись многие живые пары.

Вот хотел написать — счастливые, а написал — живые. И действительно, как нам знать, были ли эти спасающиеся пары счастливы? Вообще, счастливы ли спасающиеся? Есть ли выбор у спасающихся? Они же понимают, глядя на окружающие горы, реки, деревья, что все это уже *не наше.* Вон какая огромная очередь растянулась по берегу — жирафы, бегемоты, волки, лисы, обезьяны, медведи, львы, белки, хомяки и прочая, прочая, прочая. Каждой твари по паре. Все ищут спасения. Не зря Ламех в час рождения сына своего Ноя провидчески заметил: «Он утешит нас в работе нашей».

И Ной утешил. Он спас человечество.

Он заодно спас весь животный мир Земли.

Вот только можно ли быть счастливым, понимая, что все остальные обречены?

Ковчег, конечно, прекрасен. Как все у Кулакова, ковчег сугубо современен. На нем надстройки, прожектора, локационные башни, антенны, иллюминаторы, только на носу — старинный небольшой парус, скорее, символ. Сразу видно, что такой ковчег спокойно пройдет сквозь любую бурю и доставит своих пассажиров...

Куда? К горе Арарат?

А пассажиры хотят туда?

Что делать африканскому льву или южноамериканскому ленивцу на вершине заснеженного Арарата, чем питаться среди голых мерзлых камней яванской тропической обезьяне или североамериканскому, пусть и более неприхотливому, скунсу? Ну, и все такое прочее. Одни только птицы на холсте Кулакова чувствуют близкую опасность — они беспокойно клубятся над ковчегом, над крошечным пятисотлетним Ноем. Они-то уж точно видят вдали волну-убийцу, уже катящуюся к берегу.

Это потоп.

Он надвигается.

Ной на верхней палубе одинок.

Сыновья старика заняты погрузкой.

На берегу звери смиренно выстроились в длинную очередь.

Они еще не знают, не понимают, зачем они тут. Но их тревогой напитан воздух.

Это и понятно: ведь звери никогда не идут туда, где чувствуется опасность (зверь с холма смотрит вперед, но не в будущее), а эти пришли. По зову Ноя, конечно. Коровы, бизоны, лошади, коты, собаки, крысы, саранча, ящерицы и все прочие — они не знают своего будущего, но их *позвали.* Они стоят, переминаются с ноги на ногу, с лапы на лапу, они перешептываются. Они понимают: надо ждать. Сперва — волны наступающего потопа. Потом — появления на горизонте горы Арарат. Потом отступающей волны. Потом новой жизни. Потом создания каменных и костяных орудий труда, потом все более совершенных орудий. А потом полета на Луну и, само собой, водородной бомбы. То есть всего того, что мы так часто называем прогрессом,

что мы все определяем как будущее и что (в своем неумолимом вечном движении) так быстро превращается в прошлое.

Звери еще не взошли на ковчег, тянется по берегу смиренная очередь.

А морские валы вдали поднимаются все выше, выше. Порывы ветра срывают с них пену. Вверх, вниз. Опять вверх и вниз. Парус округляется. Какую же цель ставит перед собой человек, начиная строить Вавилонскую башню, создавая ковчег? Я сейчас говорю не о конкретно означенной цели — добраться до небес, достичь земли; я говорю о том, что нас внутренне заставляет все это снова и снова совершать? Какова истинная цель наших многих (часто необъяснимых) действий?

Вот качнулась и двинулась наконец громада ковчега.

Вот она уже рассекает волны.

Куда ж нам плыть?

Алексей Буров

Дорогой Геннадий Мартович, Ваши письма неизменно приводят меня в ошеломление каким-то особым электричеством, излучаемым персонажами и ситуациями.

Вот маленькая фигурка Ноя на верхней палубе ковчега — одного под бездонным небом, сливающимся с бесконечными водами везде, куда ни глянь. Много лет он был состоятельным, всеми уважаемым человеком; жизнь шла своим чередом, возвращаясь, как ей и положено, на круги своя. Все было налажено и устроено, но в определенный момент этому уже не слишком молодому человеку стало ясно, что круги жизни безнадежно попортились, идут ко дну, что единственный его шанс не пропасть вместе со всем этим хозяйством — строить ковчег и уплывать, уходить от тонущего мира навсегда. Что могли думать соплеменники, наблюдая странные приготовления к отъезду человека, даже и не знавшего, как объяснить, зачем и куда он уезжает? Должно быть, судили-рядили о странностях Ноя, о известном его упрямстве. И вот эта жизнь уже позади, ее больше нет, и она никогда не вернется; средних же лет человек на верхней палубе ковчега видит себя со всех сторон окруженным небом, которое всегда было и будет для него подлинной твердью.

А вот организованно движутся вдали колонны великого вавилонского народа, строителя светлой Башни. Этим уверенным в завтрашнем дне людям стало ясно, что человечество постоянно обманывали, убеждая славить богов, через то унижая и эксплуатируя трудящихся. Но пришли великие учителя и объяснили, что богов выдумали, велик же на самом деле никакой не бог, а человек, что должно быть ясно всякому, подержавшему в руке хорошо обожженный кирпич. Не боги ведь кирпичи обжигают! Свет учения идет от Вавилона, чей передовой народ под мудрым руководством наставников строит Башню. До самого неба будет эта великая Башня, никак не ниже! И пусть дивятся на нее окрестные народы, восхищаясь великими соседями, почтительно расступаясь и склоняясь пред ними в изумлении. Да, нелегко таскать глиняные кирпичи на высокие этажи, но это ничего; еще немного и достигнем неба, и точно увидим, что никаких богов там нет и не было. Башня же будет сиять в веках, прославляя великий народ великой страны.

Проект этот не получился. На каком-то этапе возведения светлой Башни ее строители стали подозревать неладное: что до неба достать нельзя, что глупо даже задачу так ставить. Сомнение это, несмотря на карательные меры стражей, росло, принимало самые разнообразные формы, а затем уже все, включая самих наставников, перестали понимать, что такое эта Башня и зачем она нужна, если все больше и

больше она становится предметом обличений и горьких шуток. В конце концов и самый язык построения Башни был утрачен, уйдя в забывающиеся анекдоты и не слишком интересные ученые трактаты.

Как же, Геннадий Мартович, ответить на ваш вопрос:

– добраться до небес...

– достичь земли...

– какова истинная цель этих наших (часто необъяснимых) действий?

Кого об этом спрашивать, к кому идти за ответом?

Но прислушаемся, однако же, к самому вопросу. Бывают ведь такие вопросы, что уже в самих себе содержат часть ответа.

Истинная цель, о которой вы спрашиваете, принадлежит уровню, резко отличающемуся от непосредственных целей. В отличие от последних, неизвестно, кого о ней надо спрашивать, да и есть ли она. Спрашивая, в чем она состоит, вы тем самым уже как бы подразумеваете, что она есть. Положим, что так; но где же она существует, в каком пространстве, внутри чего? В природе нет целей; наука описывает природу посредством законов, случайности, и причинных, но не целенаправленных связей. Цель, если она действительно цель, а не иллюзия, может устанавливаться лишь умом, лишь уму может принадлежать, лишь умом задаваться. Если для человечества в целом она и в самом деле установлена, то имеется, стало быть, и ум, ее установивший, ум Создателя.

Тут развилка: если цель действительно есть, то есть и Создатель.

А если никакой цели у человечества нет? Если человечество случилось в ходе бесцельной эволюции, и сам вопрос о его назначении, как и распространенная вера в Создателя, тоже произошли в силу откуда-то упавших законов и случая, не более того?

В нашем предыдущем разговоре («О правде и вечных вопросах») я попытался показать, почему второй вариант плох. Избегая повторений, лишь кратко перечислю аргументы против этого второго варианта — атеизма (материализма, натурализма, сциентизма).

Во-первых, это воззрение противоречит математической красоте законов природы, и как факту самой природы, и как неотъемлемой от теорфизики вере в такие законы, и как уже реализованному познанию Вселенной.

Во-вторых, оно противоречит разумности потенциально неограниченных требований долга, а потому губительно как в индивидуальном, так и цивилизационном плане.

В-третьих, оно чревато ситуацией хамской неблагодарности в случае своей ошибки.

Есть и иные аргументы в ту же сторону, но ограничусь здесь этими.

Замечу заодно, что почти все из этих аргументов работают и против того, что можно назвать гипотезой Джокера, то есть предположения о недобром или неумелом создателе Вселенной или о могущественном демоне, захватившим полноту власти над человеком. Идея такого демона стара как мир: в христианстве она присутствует как преувеличение роли Сатаны, над возможностью ее опровержения размышлял Декарт, ей был придан современный вид фильмом «Матрица» и набирающими популярность идеями мира как компьютерной симуляции.

Оставив Джокера в стороне, спросим: не может ли так быть, что Создатель есть, но никакой особенной цели, назначения для созданного им человечества он не предусмотрел или же пока не определился в этом отношении?

В нашем разговоре «о правде и вечных вопросах» я определил человека как того, кто может удивить Бога. Людей удивляют как сами люди, так и природа, но для Творца природа, подчиненная его закону и случаю, вся прозрачна и предсказуема. Человек же подобен Богу как существо духовное, способное противостоять природным силам,

рождать новые идеи и реализовывать их, и в силу того он таинствен даже для Бога. Потому и разумно заключить, что человек не просто интересен, но по преимуществу именно он интересен Создателю. А раз так, то и надежды Создателя в отношении человека могут состоять лишь в росте этого интересного начала, творческого духа, усиления его атрибутов: познавательной способности, изобретательности, стремления и реализации себя в красоте, истине, любви.

Но тут меня могут спросить: если так, то отчего же Творец сразу не создал человека существом высокого духа, отчего человек так долго пребывает не в силе, а в слабости и ничтожестве, отчего он так часто глуп, жесток и низок? Зачем творить так, чтобы затем смывать потопом почти всех сотворенных? Разве не указывают все такие печальные события на недостаток прозорливости или творческой мощи автора?

Я так не думаю, и вот почему.

Богоподобие предполагает участие в творении не только всего мира, но и себя самого. Если бы Бог сразу сотворил человека супер-духовным существом, то тем самым человек был бы лишен возможности самосовершенствования до этого самого высокого уровня. Его богоподобие было бы уменьшено ровно на этот вклад в сотворение мира. Так что максимум творческого участия требует самой низкой из возможных стартовых позиций. Она и была изначально предельно низкой: человек, получив минимальную искру духа, начал выходить из животного царства. Из этого царства человеку предстояло вытащить себя за волосы самому, лишь с минимальной помощью свыше. Задача требовала именно границы невозможного.

Как же так, Алексей? — должно быть, остановите вы меня. — А как же Эдемский сад? И Змей, и грехопадение? Что же, — отвечу я. — Благая Книга есть катализатор духа, а не научное пособие. Она часто загадочна, темна, всегда требует усилий понимания, а не буквалистского прочтения. Бог дал человечеству две книги, писал Галилей, книгу природы и книгу обоих заветов. В отношении каждой из них мы должны держать ум открытым к новым проблемам, к необходимости нового понимания в свете новых данных и новых идей. Все, уже немалые, научные данные о предках человечества говорят именно о достаточно медленном выходе человека из царства приматов, не содержа никакой возможности вписать туда эдемскую жизнь исключительно разумной пары общих предков. Это означает, что буквальное прочтение мифа о сотворении человека, скорее всего, ошибочно. Но Библия, подчеркну еще раз, есть книга духа, а не учебник антропологии. Эдемский миф есть одно из великих посланий человечеству — на все века, как и миф о Потопе, и миф о Башне. Эти послания выражены в наиболее универсальной, захватывающей внимание форме — в виде поэтических художественных образов. Их уникальная сила явлена тем простым фактом, что по прошествии тысячелетий человечество не забыло их, не оставило, как отжившую рухлядь, но продолжает активнейшим образом спорить об их смысле, держа их в самом фокусе внимания. В той стране (США), где ваш покорный слуга живет уже два десятка лет, Библия постоянно находится в центре внимания всего народа: о смысле тех или иных ее историй идут (без какого-либо участия государства) дискуссии фермеров и водопроводчиков, музыкантов и психологов, а не только теологов и священников.

Хорошо, но как же быть с мифом об эдемской паре, как его понимать?

Я вижу в этом мифе предупреждение о вечной опасности утраты доверия Создателю и соблазна «быть как боги», соблазна «сделать *себе* имя», превознести и восславить себя, оставив Бога, — именно того соблазна, который захватил и ослепил вавилонян, взявшихся строить башню до неба.

Сотворив человека, Бог сотворил другого бога, подобного и не подобного Себе. Сотворив человека, Он дал ход времени, как мере становления, раскрытия потенциальной божественности в актуальности личности и истории. До человека времени не было или оно не играло роли: всеведению и всемогуществу Творца нет

пределов в природе, подчиненной установленному Им закону и границам случая; в отрыве от человека, природа раскрыта перед всеведением, от начала и до конца.

«Наиболее трудным в христианской метафизике является вопрос о примирении свободы человека с Божьим всемогуществом, с Божьим всеведением. На этой почве родилось учение о предопределении, достигшее крайнего выражения у Кальвина. Уже Блаженный Августин испытал тут непреодолимые затруднения. Наиболее верен тут путь мысли, на котором будет признано, что свобода есть граница Божьего предвидения, что Бог сам полагает границы своему предвидению, так как он хочет свободы и в свободе видит смысл творения», — утверждал Николай Александрович Бердяев на варшавском философском конгрессе 1927 года.

Разумных альтернатив этому *наиболее верному пути мысли* мне не видно.

Напряженный духовный рост человека и человечества — вот что важно для небес.

Замысел не в том, чтобы доставить человечество в некую наилучшую землю, где люди бы наконец успокоились в своих поисках и зажили правильной жизнью. Будь задача именно такой, имей высшую ценность не духовное напряжение, а бытие в самых его прекрасных формах, оно и было бы сразу создано и населено добродетельнейшими и благочестивейшими людьми, которые отныне почитали бы за счастье жить именно в этом лучшем из миров, непрерывно благодаря за то Создателя и друг друга. Кто скажет, что свобода воли непременно сопряжена с риском злодеяний, пусть подумает о мире, сплошь населенном святыми угодниками, и вспомнит, что для Бога нет ничего невозможного. Дух есть сотворение нового, а не хождение по кругам, сколь бы хороши эти круги ни были. Хождение по кругам — это природа, это жизнь, но вовсе не дух, творящий из ничего, задающий новые измерения бытия, преобразующий старые.

Вспомним, Геннадий Мартович, еще одну библейскую тему, новозаветную на сей раз: конфликт Иисуса Христа с фарисеями, главный конфликт Евангелий, который и привел к распятию. В центре фарисейства стояло строгое исполнение закона, аскеза своего рода. Исполнить сотни заповедей и ограничений разного рода очень нелегко; это подвижничество, требующее неслабой любви к Богу. Христос же говорил людям этой строгой религиозной жизни: фарисеи, вы гробы повапленные, разукрашенные. Очень даже оскорблял религиозные чувства мирных благочестивых людей, а за что? В чем был их грех?

Обычный ответ — в гордыне.

Но ведь гордыня — это ставить себя на место Бога, выше Бога.

Великий вавилонский народ, строитель Башни — вот где гордыня. Фарисей же, осужденный Христом, стоял в храме и благодарил Всевышнего, что дал силы исполнить положенное, что не обрек на позорную жизнь, вроде жизни этого негодяя мытаря, откупщика, дерущего последнюю копейку со вдов и бедняков ради казны оккупантов. Исполнивший трудные заповеди человек благодарил за все это Бога — какая же тут гордыня?

Нет, не в том здесь дело. Спор с фарисеями шел по самому большому счету, это был главный религиозный спор из всех возможных: в чем Замысел о человеке? В чем цель и назначение: в правильной форме жизни или в вечной работе духа? На языке философии можно было бы спросить — в бытии или становлении? Дававшие первый ответ, ставившие форму, традицию, закон, послушание целью и смыслом, уже совершали тем самым грех против духа, ничтожа его, приговаривая себя к духовной смерти в сколь угодно прекрасных замечательных гробах. Можно сказать — они были учителями духовной смерти. Потому они и *фарисеи, гробы повапленные, разукрашенные*. Об этом же и притча о талантах, поражающая жестоким наказанием того, кто, казалось бы, никого не обидел, не украл, а всего лишь *ничего не добавил*.

«А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».

Это Христос сказал, предупредил нас всех, за что главный спрос будет.